

Александр Куприн

Морская болезнь



Александр Куприн

Морская болезнь

«Public Domain»

1908

Куприн А. И.

Морская болезнь / А. И. Куприн — «Public Domain», 1908

«Море в гавани было грязно-зеленого цвета, а дальняя песчаная коса, которая врезалась в него на горизонте, казалась нежно-фиолетовой. На молу пахло тухлой рыбой и смоленным канатом. Было шесть часов вечера. На палубе прозвонили в третий раз. Пароходный гудок засипел, точно он от простуды никак не мог сначала выдать из себя настоящего звука. Наконец ему удалось прокашляться, и он заревел таким низким, мощным голосом, что все внутренности громадного судна задрожали в своей темной глубине...»

© Куприн А. И., 1908

© Public Domain, 1908

Содержание

| | |
|-----|----|
| I | 5 |
| II | 7 |
| III | 9 |
| IV | 11 |
| V | 14 |
| VI | 17 |
| VII | 19 |

Александр Иванович Куприн

Морская болезнь

I

Море в гавани было грязно-зеленого цвета, а дальняя песчаная коса, которая врезалась в него на горизонте, казалась нежно-фиолетовой. На молу пахло тухлой рыбой и смоленным канатом. Было шесть часов вечера.

На палубе прозвонили в третий раз. Пароходный гудок засипел, точно он от простуды никак не мог сначала выдать из себя настоящего звука. Наконец ему удалось прокашляться, и он заревел таким низким, мощным голосом, что все внутренности громадного судна задрожали в своей темной глубине.

Он ревел нескончаемо долго. Женщины на пароходе, зажав уши ладонями, смеялись, жмурились и наклоняли вниз головы. Разговаривающие кричали, но казалось, что они только шевелят губами и улыбаются. И когда гудок перестал, всем вдруг сделалось так легко и так возбужденно-весело, как это бывает только в последние секунды перед отходом парохода.

– Ну, прощайте, товарищ Елена, – сказал Васютинский. – Сейчас будут убирать сходни. Иду.

– Прощайте, дорогой, – сказала Травина, подавая ему руку. – Спасибо вам за все, за все. В вашем кружке прямо душой возрождаешься.

– И вам спасибо, милая. Вы нас разогрели. Мы, знаете, больше теоретики, книгоеды, а вы нас как живой водой вспырынули.

Он, по обыкновению, тряхнул ее руку, точно действовал насосом, больно сжав ей пальцы обручальным кольцом.

– А качки вы все-таки не бойтесь, – сказал он. – У Тарханкута вас действительно немного поваляет, но вы ложитесь заранее на койку, и все будет чудесно. Супругу и повелителю поклон. Скажите ему, что все мы с нетерпением ждем его брошюрку. Если здесь не удастся тиснуть, отпечатаем за границей... Соскучились небось? – спросил он, не выпуская ее руки и с фамильярным ласковым лукавством заглядывая ей в глаза.

Елена улыбнулась.

– Да. Есть немножко.

– То-то. Я уж вижу. Шутка ли, помилуйте – десять дней не видались! Ну, addio, mio carissimo amico¹. Всем знакомым ялтинцам привет. Чудесная вы, ей-богу, человечка. Прощайте. Всего хорошего.

Он сошел на мол и стал как раз напротив того места, где стояла Елена, облокотившаяся на буковые перила борта. Ветер раздувал его серую крылатку, и сам он, со своим высоким ростом и необычайной худобой, с остренькой бородкой и длинными седеющими волосами, которые трепались из-под широкополой, черной шляпы, имел в наружности что-то добродушно комично-воинственное, напоминавшее Дон-Кихота, одетого по моде радикалов семидесятых годов.

И когда Елена, глядя на него сверху вниз, подумала о бесконечной доброте и душевной детской чистоте этого смешноватого человека, о долгих годах каторги, перенесенной им; о его стальной непоколебимости в деле, о его безграничной вере в близость освобождения, о его громадном влиянии на молодежь – она почувствовала в этой комичности что-то бесконечно ценное, умиляющее и прекрасное. Васютинский был первым руководителем ее и ее мужа на

¹ Прощайте, мой дорогой товарищ (*итал.*).

революционном поприще. И теперь, улыбаясь ему сверху и кивая головой, она жалела, что не поцеловала на прощанье у него руку и не назвала его учителем. Как бы он сконфузился, бедный!

Кран паровой лебедки поднялся в последний раз кверху, точно гигантская удочка, таща на конце цепи раскачивающуюся и вращающуюся массу чемоданов и сундуков.

– Все готово! – крикнули снизу.

– Убирай сходни! – ответили наверху из рубки и засвистали.

Носильщики в синих блузах подняли с обеих сторон сходню на плечи и отнесли ее в сторону. Под пароходом что-то забурлило и заклокотало.

По молу проходила грязнолицая, оборванная девочка с корзиной цветов, которые она тоном нищенки предлагала провожающим:

– Бя-я-рин, купите цветочков!

Васютинский выбрал у нее небольшой букетик полуувядших фиалок и бросил его кверху, через борт, задев по шляпе почтенного седого господина, который от неожиданности извинился. Елена подняла цветы и, глядя с улыбкой на Васютинского, приложила их к губам.

А пароход, повинувшись свисткам и команде и выплевывая из боковых нижних отверстий каскады пенной воды, уже заметно отделился от пристани. Он, точно большое мудрое животное, сознающее свою непомерную силу и боящееся ее, осторожно, боком отваливал от берега, выбираясь на свободное пространство. Елена долго еще видела Васютинского, возвышавшегося головой над соседями. Он ритмически подымал и опускал над головой свою бандитскую шляпу. Елена отвечала ему, размахивая платком., Но мало-помалу все люди на пристани слились в одну темную, сплошную массу, над которой, точно рой пестрых бабочек, колебались платки, шляпы и зонтики.

В Ялте теперь был разгар пасхального сезона, и поэтому с пароходом ехало необыкновенно много народа. Вся корма, все проходы между бортами и пассажирскими помещениями, все скамейки и шпиды, все коридоры и диваны в салонах были завалены и затисканы людьми, тюками, чемоданами, верхней одеждой. Назойливо и скучно кричали грудные дети, пароходные официанты увеличивали толкотню, носясь по пароходу взад и вперед без всякой нужды; женщины, как и всегда они делают в публичных местах, застревали со своей болтовней именно там, где всего сильнее кипела суета, – в дверях, в узких переходах; они заграждали общее движение и упорно не давали никому дороги. Трудно было себе вообразить, как разместится вся эта масса. Но мало-помалу все утоллось, улеглось, пришло в порядок, и когда пароход, выйдя на середину гавани и не стесняясь больше своей осторожностью, взял полный ход, – на палубе уже стало просторно.

II

Травина стояла на корме, глядя назад, на уходящий город, который белым амфитеатром подымался вверх по горам и венчался полукруглой беседкой из тонких колонн. Глазу было ясно заметно то место, где спокойный, глубокий синий цвет моря переходил в жидкую и грязную зелень гавани. Далеко у берега, как голый лес, возвышались трубы, мачты и реи судов. Море зыбилось. Внизу, под винтом, вода кипела белыми, как вспененное молоко, буграми, и далеко за пароходом среди ровной широкой синевы тянулась, чуть змеясь, узкая зеленая гладкая дорожка, изборожденная, как мрамор, пенными, белыми причудливыми струйками. Белые чайки, редко и тяжело маша крыльями, летели навстречу пароходу к земле.

Еще не качало, но Елена, которая не успела пообедать в городе и рассчитывала поесть на пароход, вдруг почувствовала, что потеряла аппетит. Тогда она спустилась вниз, в глупину каютных отделений, и попросила у горничной дать ей койку. Оказалось, однако, что все места заняты. Краснея от стыда за себя и за другого человека, она вынула из портмоне рубль и неловко протянула его горничной. Та отказалась.

– Я бы, барышня, с моим удовольствием, только, ей-богу, ни одного местечка. Даже свое помещение уступила одной даме. Вот в Севастополе будет посвободнее.

Елена опять вышла на палубу. Сильный ветер, дувший навстречу пароходу, облеплял вокруг ее ног платье и заставлял ее нагибаться вперед и придерживать рукой край шляпы.

Старый, маленький, красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого Старый, маленький, красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого правильными спиралями и оканчивавшегося медной гирькой с лопастями по бокам.

Прикрепив прочно медный инструмент к борту, боцман пустил гирьку на отвес, быстро развертел ее правой рукой, так что она вместе с концом шнура образовала сплошной мреющий круг, и вдруг далеко метнул ее назад, туда, куда уходила зелено-белая дорожка из-под винта. И в том, как гирька со свистом описывала длинную дугу, в той скорости, с которой потом сбегали с левой руки боцмана свернутые круги, а главное – в деловой небрежности, с какой он это делал, Елена почувствовала особенное, специальное морское щегольство. У нее был необыкновенно зоркий глаз на эти мелочи.

Затем, когда гирька, скрывшись из глаз, бултыхнула далеко за пароходом, в воду, боцман вставил оставшийся у него в руке свободный конец с крючком в заднюю стенку инструмента.

– Что это такое? – спросила Травина.

– Лаг! – сердито ответил боцман. Но, обернувшись и увидев ее милое детское лицо, он добавил мягче:

– Это лаг, барышня. Стало быть, перо в воде вертится, потому как с крыльями, стало быть, и лаглинь вертится. А тут вот жубчатки и стрелка. Мы, стало быть, смотрим на стрелку и знаем, сколько узлов прошли. Потому как этот берег скроем, а тот откроем только утром. Это у нас называется лаг, барышня.

Елена была уже два года замужем, но ее очень часто называли барышней, что иногда льстило ей, а иногда причиняло досаду. Она и в самом деле была похожа на восемнадцатилетнюю девушку со своей тонкой, гибкой фигурой, маленькой грудью и узкими бедрами, в простом костюме из белой, чуть желтоватой шершавой кавказской материи, в простой английской соломенной шляпе с черной бархаткой.

Помощник капитана, коренастый, широкогрудый, толстоногий молодой брюнет в белом коротком кителе с золотыми пуговицами, проверял билеты. Елена заметила его, еще входя на

пароход. Он тогда стоял на палубе по одну сторону сходни, а по другую стоял юнга, ученик мореходных классов, тонкий, ловкий и стройный в своей матросской курточке мальчишка, подвижной, как молодая обезьянка. Они оба провожали глазами всех подымавшихся женщин и делали за их спинами друг другу веселые гримасы, кивая головами, дергая бровями в их сторону и прищуривая один глаз. Елена еще издали заметила это. Она до дрожи отвращения ненавидела такие восточные красивые лица, как у этого помощника капитана, очевидно, грека, с толстыми, почти не закрывающимися, какими-то оголенными губами, с подбородком, синим от бритья и сильной растительности, с тоненькими усами колечком, с глазами черно-коричневыми, как пережженные кофейные зерна, и притом всегда томными, точно в любовном экстазе, и многозначительно бессмысленными. Но она также считала для себя унижительным проходить в таких случаях мимо незнакомых мужчин, опустив глаза, краснея и делая вид, что ничего не замечает. И потому, когда Елена переступила со сходни на палубу и ей загородили дорогу – с одной стороны этот самый моряк, а с другой толстая старая женщина с кулками в обеих руках, которая, задохнувшись от подъема, толкалась и переваливалась на одном месте, она равнодушно поглядела на победоносного брюнета и сказала, как говорят нерасторопной прислуге:

– Потрудитесь посторониться.

И она с удовольствием увидела, как игривая молодцеватость мгновенно слиняла с его лица от ее уверенного пренебрежительного тона и как он суетливо, без всякого ломанья, отскочил в сторону.

Теперь он подошел к Елене, которая стояла, прислонившись к борту, и, возвращая ей билет, нарочно – это она сразу поняла – прикоснулся горячей щекочущей кожей своих пальцев к ее ладони и задержал руку, может быть, только на четверть секунды долее, чем это было нужно. И, переведя глаза с ее обручального кольца на ее лицо и искательно улыбаясь, он спросил с вежливостью, которая должна была быть светской:

– Виноват-с. Вы, кажется, с супругом изволите ехать?

– Нет, я одна, – ответила Елена и отвернулась от него к борту, лицом в море.

Но в этот момент у нее слегка закружилась голова, потому что палуба под ее ногами вдруг показалась ей странно неустойчивой, а собственное тело необыкновенно легким. Она села на край скамейки.

Город едва белел вдали в золотисто-пыльном сиянии, и теперь уже нельзя было себе представить, что он стоит на горе. Налево плоско тянулся и пропадал в море низкий, чуть розоватый берег.

III

Помощник капитана несколько раз проходил мимо нее, сначала один, потом со своим товарищем, тоже моряком, в кителе с золотыми пуговицами. И хоть она не глядела на него, но каждый раз каким-то боковым чутьем видела, как он закручивал усы и подолгу оглядывал ее тающим бараньим взглядом черных глаз. Она даже услышала раз его слова, сказанные, наверное, в расчете, чтобы она услышала:

– Черт! Вот это женщина! Это я понимаю!

– Да-а, бабеч! – сказал другой.

Она встала, чтобы переменить место и сесть напротив, но ноги плохо ее слушались, и ее понесло вдруг вбок, к запасному компасу, обмотанному парусиной. Она еле-еле успела удержаться за него. Тут только она заметила, что началась настоящая, ощутимая качка. Она с трудом добралась до скамейки на противоположном борту и упала на нее.

Стемнело. На самом верху мачты вспыхнул одинокий желтый электрический свет, и тотчас же на всем пароходе зажглись лампочки. Стеклобудка над салоном первого класса и курительная комната тепло и уютно засияли огнями. На палубе сразу точно сделалось прохладнее. Сильный ветер дул с той стороны, где сидела Елена, мелкие соленые брызги изредка долетали до ее лица и прикасались к губам, но встать ей не хотелось.

Мучительное, долгое, тянущее чувство какой-то отвратительной щекотки начиналось у нее в груди и в животе, и от него холодел лоб и во рту набиралась жидкая щиплющая слюна. Палуба медленно-медленно поднималась передним концом кверху, останавливалась на секунду в колеблющемся равновесии и вдруг, дрогнув, начинала опускаться вниз все быстрее и быстрее, и вот, точно шлепнувшись о воду, шла опять вверх. Казалось, она дышала – то распухая, то опадая, и в зависимости от этих движений Елена ощущала, как ее тело то становилось тяжелым и приплюскивалось к скамейке, то вслед затем приобретало необычайную, противную легкость и неустойчивость. И эта чередующаяся перемена была болезненнее всего, что Елене приходилось испытывать в жизни.

Город и берег давно уже скрылись из виду. Глаз свободно, не встречая препятствий, охватывал кругообразную черту, замыкавшую небо и море. Вдали бежали неровными грядами белые барашки, а внизу, около парохода, вода раскачивалась взад и вперед длинными скользкими ямами и, взмывая наверх, заворачивалась белыми пенными раковинами.

– Пардон, мадам, – услышала Елена над собою голос.

Она оглянулась и увидела все того же черномазого помощника капитана. Он глядел на нее сладкими, тающими, закатывающимися глазами и говорил:

– Извините, если я вам позволю дать совет. Не глядите вниз, это гораздо хуже, от этого происходит кружение головы. Лучше всего глядеть на какую-нибудь неподвижную точку. Например, на звезду. А лучше бы всего вам лечь.

– Благодарю вас, мне ничего не нужно, – сказала Елена, отвернувшись от него.

Но он не уходил и продолжал заискивающим, изнеженным голосом, в котором слышался привычный тон пароходного соблазнителя:

– Вы меня простите, пожалуйста, что я так подошел к вам, не имея чести... Но мне необыкновенно знакома ваша личность. Позвольте узнать, вы не ехали ли прошлым рейсом с нами – до Одессы? Э-э-э... можно присесть?

– Благодарю вас, – сказала она, подымаясь с места и не глядя на него. – Вы очень заботливы, но предупреждаю вас: если вы еще хоть один раз попытаете предложить мне ваши советы или услуги, я тотчас же по приезде в Севастополь телеграфирую Василию Эдуардовичу, чтобы вас немедленно убрали из Русского общества пароходства и торговли. Слышали?

Она назвала первое попавшееся на язык имя и отчество. Это был старый, уморительный прием, «трюк», которым когда-то спасся один из ее друзей от преследования сыщика. Теперь она употребила его почти бессознательно, и это подействовало ошеломляющим образом на первобытный ум грека. Он поспешно вскочил со скамейки, приподнял над головой белую фуражку, и даже при слабом свете, падавшем сквозь стекла над салоном, она увидела, как он быстро и густо покраснел.

– Ради бога... Не истолкуйте превратно... Честное слово... Вы, может быть, подумали? Ей-богу...

Но в эту секунду палуба, начавшая скользить вниз, вдруг круто качнулась вбок, налево, и Елена, наверно, упала бы, если бы моряк вовремя ловко и деликатно не подхватил ее за талию. В этом объятии не было ничего умышленного, и она сказала ему несколько мягче:

– Благодарю вас, но только оставьте меня. Мне нехорошо.

Он приложил руку к козырьку, сказал по-морскому: «Есть!» – и поспешно ушел.

Елена забралась с ногами на скамейку, положила локти на буковые перила и, угнездив между ними голову, закрыла глаза. Моряк вдруг стал в ее глазах ничуть не опасным, а смешным и жалким трусом. Ей вспомнились какие-то глупые куплеты о пароходном капитане, которые пел ее брат, студент Аркадий – «сумасшедший студент», как его звали в семье. Там что-то говорилось о даме, плившей на пароходе в Одессу, о внезапно поднявшейся буре и морской болезни.

Но кап-питан любезный был,
В каюту пригласил,
Он лечь в постель мне дал совет
И расстегнуть корсет...
Шик, блеск, иммер элеган...

Ей уже вспомнился мотив и серьезное длинное лицо Аркадия, произносившего разговором дурацкие слова. В другое время она рассмеялась бы воспоминанию, но теперь ей было все равно, все в мире для нее было как-то скучно, неинтересно, вяло. Чтобы испытать себя, она нарочно подумала о Васютинском и его кружке, о муже, о приятной работе для него на ремингтоне, старалась представить давножданную радость свидания с ним, которая казалась такой яркой и сладостной там, на берегу, – нет, все выходило каким-то серым, далеким, равнодушным, не трогающим сердца. Во всем ее теле и в сознании осталось только тягучее, раздражающее, расслабленное состояние полуобморока. Ее кожа с ног до головы обливалась липким холодным потом. Невозможно было сжать влажных, замиравших пальцев в кулак – так они обмякли и обессилели. Казалось, что вот-вот сейчас наступит полный обморок и забвение. Она ждала этого и боялась.

Но вдруг в глазах ее стало мутно и зелено, раздражающая щекотка подступила к горлу, сердце бессильно затрепыхалось где-то глубоко внизу, в животе. Елена едва успела вскочить и наклониться над бортом.

IV

На минуту ей стало как будто легче.

– Вы бы лучше походили, сударыня, – сказал ей участливо тот самый старичок, которого Васютинский задел цветами по шляпе.

Он сидел на соседней скамье и видел, как Елене сделалось дурно.

– Вы ходите по воздуху и старайтесь дышать как можно реже и глубже. Это помогает.

Но она только покачала отрицательно головой и опять, улегшись лицом на локоть, закрыла глаза.

Ей с трудом удалось заснуть. Проспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь – темная, облачная, Ей с трудом удалось заснуть. Проспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь – темная, облачная, безлунная и ветреная. Пароход валяло с носа на корму и с боку на бок. Шел мелкий косой дождь. На палубе было пусто, только в проходах у стен рубок, куда не достигали брызги, лежали спящие люди.

За левым бортом в бесконечно далекой черноте ночи, точно на краю света, загорелась вдруг яркая, белая, светящаяся точка маяка; продержавшись с секунду, она мгновенно гасла, а через несколько секунд опять вспыхивала, и опять гасла, и опять вспыхивала через точные промежутки. Смутное нежное чувство прикоснулось вдруг к душе Елены.

«Вот, – подумала юна, – где-то в одиночестве, на пустынном мысе, среди ночи и бури, сидит человек и следит внимательно за этими вспышками огня, и, может быть, вот сейчас, когда я думаю о нем, может быть, и он мечтает о сердце, которое в это мгновение за много верст на невидимом пароходе думает о нем с благодарностью».

И ей припомнилось, как прошлой зимой ее и ее мужа вез со станции Тумы самонадеянный рязанский мальчишка. Была ночь и выюга. Не прошло и получаса, как мальчишка потерял дорогу, и они втроем кружили по какому-то дикому сугробному полю, перерезанному канавами, возвращаясь на свои следы, только что прорытые в целине. Кругом, куда бы ни глядел глаз, была одна и та же тусклая, мертвая, белесая муть, в которой сливались однотонно снег и небо. Когда лошадь попадала в канавы, всем троим приходилось вылезать из саней и идти по пояс в снегу. Ноги у Елены окоченели и уже начали терять чувствительность.

Тихое беззлостное отчаяние овладело ею. Муж молчал, боясь заразить ее своей тревогой. Мальчишка на козлах уже больше не дергал веревочными вожжами и не чмокал на лошадь. Она шла покорным шагом, низко опустив голову.

И вдруг мальчишка закричал радостно:

– Вёшка!

Елена сначала ничего не поняла, так как была впервые в такой глубокой деревенской глуши. Но когда она увидела большую сосновую ветку, торчавшую из снега, и другую ветку, смутно темневшую вдали сквозь ночную серую муть, и когда она узнала, что таким порядком мужики обозначают дорогу на случай метели, – она почувствовала теплое, благодарное умиление. Кто-то, кого она, вероятно, ни разу в жизни не увидит и не услышит, шел днем вдоль этой-дороги и, заботливо втыкал налево и направо эти первобытные маяки. Пусть он даже вовсе не думал тогда о заблудившихся путниках, как, может быть, не думает теперь сторож маяка о признательности женщины, сидящей на борту парохода и глядящей на вспышки далекого белого огня, – но как радостно сблизить в мыслях две души, из которых одна оставила за собою бережный, нежный и бескорыстный след, а другая принимает этот дар с бесконечной любовью и преклонением.

И она с восторгом подумала о великих словах, о глубоких мыслях, о бессмертных книгах, оставленных потомству: «Разве это не те же вешки на загадочном пути человечества?»

Знакомый старый красноносый боцман в клеенчатом желтом пальто, с надвинутым на голову капюшоном, с маленьким фонариком в руке, торопливо пробежал по палубе к лагу и нагнулся над ним, осветив го циферблат. На обратном пути он узнал Елену и остановился около нее.

– Не спите, барышня? Закачало? Здесь всегда так. Тарханкут. Самое поганое место.

– Почему?

– Н-ну! Тут сколько авариев было. С одной стороны мыс, а с другой вода кружится, как в котле. Остается только узенькое место. Вот тут и угадывайте. Вот как раз, где мы сейчас идем, тут «Владимир» пошел ко дну, когда его «Колумбия» саданула в бок. Так и покатился вниз. И не нашли... Здесь ямища сажен в четыреста...

Наверху на капитанском мостике засвистали. Боцман рванулся было туда, но остановился и добавил торопливо:

– Эх, вижу я, барышня, мутит вас. Нехорошо это. А вы, знаете, лимончик пососите. А то раскиснете. Да.

Елена встала и пошла по палубе, стараясь все время держаться руками за борта и за ручки дверей. Так она дошла до палубы третьего класса. Тут всюду в проходах, на брезенте, покрывавшем люк, на ящиках и тюках, почти навалившись друг на друга, лежали, спутавшись в кучу, мужчины, женщины и дети.

Иногда на них падал свет лампочек, и их лица от нездорового сна и от мучений после морской болезни казались синевато-мертвенно-бледными.

Она пошла дальше. Ближе к носу парохода на свободном пространстве, разделенном пополам коновязью, стояли маленькие, хорошенькие лошадки с выхоленной шерстью и с подстриженными хвостами и гривами. Их везли в Севастополь в цирк. И жалко и трогательно, было видеть, как бедные умные животные стойко подавали тело то на передние, то на задние ноги, сопротивляясь качке, как они прищуривали уши и косили недоумевающими глазами назад, на бушующее море.

Затем она сошла вниз по крутой железной лестнице во второй класс. Там заняты были все места; даже в обеденной зале на диванах, шедших вдоль по стенам, лежали одетыми бледные, стонущие люди.

Морская болезнь всех уравнила и заставила забыть все приличия. И часто нога еврейского комиссионера со сползающим башмаком и грязным бельем, выглядывавшим из-под панталон, почти касалась головы красивой, нарядной женщины.

Но в спертом воздухе закрытого со всех сторон помещения так отвратительно пахло людьми, человеческим сонным дыханием, запахом извергнутой пищи, что Елена тотчас же быстро поднялась вверх, едва удерживая. Но в спертом воздухе закрытого со всех сторон помещения так отвратительно пахло людьми, человеческим сонным дыханием, запахом извергнутой пищи, что Елена тотчас же быстро поднялась вверх, едва удерживая приступ тошноты.

Теперь качка стала еще сильнее. Каждый раз, когда нос корабля, взобравшись на волну и на мгновение задержавшись на ней, вдруг решительно, с возрастающей скоростью врывается в воду, Елена слышала, как его борта с уханьем погружались в море и как шипели вокруг него точно рассерженные волны.

И опять зеленая противная муть поплыла перед ее глазами. Лбу стало холодно, и тошнотомительное ощущение обморока овладело ее телом и всем ее существом. Она нагнулась над бортом, думая, как давеча, получить облегчение, но она видела только темное, тяжелое пространство внизу и на нем белые волны, то возникающие, то тающие.

Состояние ее было настолько мучительно, что она невольно подумала о том, что если бы была возможность как-нибудь вдруг, сейчас же умереть, не сходя с места, лишь бы окончилось

это ощущение медленного и отвратительного умирания, то она согласилась бы с равнодушной усталостью. Но не было возможности самой прекратить это насильственно, потому что не было ни воли, ни желания.

V

К ней подходил все тот же помощник капитана. Теперь он с почтительным видом остановился довольно далеко от нее, расставя ноги для устойчивости, балансируя движениями тела при качке.

– Ради бога, не рассердитесь, не растолкуйте превратно моих слов, – сказал он вежливо, но просто. – Мне так было тяжело и прискорбно, что вы придали недавно какой-то нехороший смысл... Впрочем, может быть, я сам в этом виноват, я не спорю, но я, право, не могу видеть, как вы мучитесь. Ради бога, не отказывайтесь от моей услуги. Я до утра стою на вахте. Моя каюта остается совершенно свободной. Не побрезгуйте, прошу вас. Там чистое белье... все, что угодно. Я пришлю горничную... Позвольте мне помочь вам.

Она ничего не ответила, но мысль о возможности протянуться свободно на удобной, покойной кровати и полежать одной, неподвижно, хоть полчаса, показалась ей необыкновенно приятной, почти радостной. Теперь она уже не находила никаких возражений против фатовской наружности капитана и против его предложения.

– Прошу вас, дайте мне руку, я проведу вас, – говорил помощник капитана с мягкой ласковостью. – Я пришлю вам горничную, у вас будет ключ, вы можете раздеться, если вам угодно.

У этого грека был приятный голос, звучавший необыкновенно искренно и почтительно, именно в таком тоне, не возбуждающем никаких сомнений, как умеют лгать женщинам опытные женолюбцы и сладострастники, имевшие в своей жизни множество легких, веселых минутных связей. К тому же воля Елены совершенно угадала, растаяла от ужасных приступов морской болезни.

– Ах, если бы вы знали, как мне тяжело! – с трудом выговорила она, почти не двигая холодными, помертвевшими губами.

– Идемте, идемте, – сказал он ласково и как-то трогательно, по-братски, помог ей подняться со скамейки, поддерживая ее.

Она не сопротивлялась.

Каюта помощника капитана была очень мала, в ней с трудом помещались кровать и маленький письменный стол, между которых едва можно было втиснуть раскладную ковровую табуретку. Но все было щегольски чисто, ново и даже кокетливо. Плюшевое тигровое одеяло на кровати было наполовину открыто, свежее белье, без единой складочки, прельщало глаз сладостной белизной.

Электрическая лампочка в хрустальном колпачке мягко светила из-под зеленого абажура. Около зеркала на складном умывальнике красного дерева стоял флакончик с ландышами и нарциссами.

– И вот пожалуйста... Ради бога, – говорил помощник капитана, избегая глядеть на Елену. – Будьте как дома, здесь вы все найдете нужное для туалета. Мой дом – ваш дом. Это наша морская обязанность – оказывать услуги прекрасному полу.

Он рассмеялся с таким видом, который должен был показать, что последние слова – не более, как милая, дружеская шутка, сказанная небрежно и даже грубовато-простым и сердечным малым.

– Итак, не бойтесь, пожалуйста, – сказал он и вышел.

Только раз, на одно мгновение, поворачиваясь в дверях, он взглянул на Елену, и даже не в ее глаза, а куда-то повыше, туда, где у нее начинались пышною волной тонкие золотистые волосы.

Какая-то инстинктивная боязнь, какой-то остаток благоразумной осторожности вдруг встревожил Елену, но в этот момент пол каюты особенно сильно поднялся и точно покотился

вбок, и тотчас же прежняя зеленая муть понеслась перед глазами женщины и тяжело заныло в груди предобморочное чувство. Забыв о своем мгновенном предчувствии, она села на кровать и схватилась рукой за ее спинку.

Когда ее немного отпустило, она накрыла кровать одеялом, расстегнула кнопки кофточки, крючки лифа и непослушные крючки низкого мягкого корсета, который сдавливал ее живот. Затем она с наслаждением легла на спину, опустив голову глубоко в подушки и спокойно протянув усталые ноги.

Ей сразу стало до счастья легко.

«Отдохну совсем и потом разденусь», – подумала она с удовольствием.

Она закрыла глаза. Сквозь опущенные веки свет лампочки приятным розовым светом ласкал глаза. Теперь покачивания парохода уже не были так мучительны.

Она чувствовала, что пройдет еще немного минут, и качка успокоит ее и смежит ей глаза легким, освежающим сном. Нужно было только лишь не шевелиться. Но в дверь постучали. Она вспомнила, что не успела запереть дверь, и смутилась. Но это могла быть горничная. Приподнявшись на кровати, она крикнула:

– Войдите!

Вошел помощник капитана, и вдруг ясное ощущение надвигающегося ужаса потрясло Елену. Голова у моряка была наклонена вниз, он не глядел на Елену, но у него двигались ноздри, и она даже услышала, как он коротко и глубоко дышал.

– Прошу извинения, я здесь забыл журнал, – сказал он глухо.

Он пошарил на столе, стоя спиной к Елене и нагнувшись. У нее мелькнула мысль – встать и тотчас же уйти из каюты, но он, точно угадывая и предупреждая ее мысль, вдруг гибким, чисто звериным движением, в один прыжок подскочил к двери и запер ее двумя оборотами ключа.

– Что вы делаете! – крикнула Елена и беспомощно, по-детски, всплеснула руками.

Он мягким, но необыкновенно сильным движением усадил ее на кровать и уселся с нею рядом. Дрожащими руками он взялся за ее кофточку спереди и стал ее раскрывать. Руки его были горячи, и точно какая-то нервная, страстно возбужденная сила истекала из них. Он дышал тяжело и даже с хрипом, и на его покрасневшем лице вздулись вверх от переносицы две расходящиеся ижицей жилы.

– Дорогая моя... – говорил он отрывисто, и в голосе его слышалась мучительная, слепая, томная страсть. – Дорогая... Я хочу вам помочь... вместо горничной... Нет! Нет!.. Не подумайте чего-нибудь дурного... Какая у вас грудь... Какое тело...

Он положил ей на обнаженную грудь горячую, воспаленную голову и лепетал, как в забытьи:

– Надо совсем расстегнуться, тогда будет лучше. Ради бога, не думайте, что я чего-нибудь... Одна минута... Только одна минута... Ведь никто не узнает... Вы испытаете блаженство... Вам будет приятно... Никто никогда не узнает... Это предрассудки.

Она отталкивала его, упиралась руками ему в грудь, в голову и говорила с отвращением:

– Пустите меня, гадина... Животное... Подлец... Ко мне никто не смел прикасаться так.

В ужасе и гневe она начала кричать без слов, пронзительно, но он своими толстыми, открытыми и мокрыми губами зажал ей рот. Она барахталась, кусала его губы, и когда ей удавалось на секунду отстранить свое лицо, кричала и плевалась. И вдруг опять томительное, противное, предсмертное ощущение обморока обессилило ее. Руки и ноги сделались вялыми, как и все ее тело.

– Господи, что вы со мною сделали! – сказала она тихо. – Вы сделали хуже, чем убийство. Боже мой! Боже мой!

В эту минуту постучали в дверь. Моряк, все еще сопя, отпер, и в каюту вошел тот веселый, похожий на ловкую обезьянку, юнга, которого видела Елена днем около сходни.

– Боже мой! Боже мой! Боже мой! – сказала женщина, закрыв лицо руками.

VI

Наступило утро. В то время, когда разгружали людей и тюки в Евпатории, Елена проснулась на верхней палубе от легкой сырости утреннего тумана. Море было спокойно и ласково. Сквозь туман розовело солнце. Наступило утро. В то время, когда разгружали людей и тюки в Евпатории, Елена проснулась на верхней палубе от легкой сырости утреннего тумана. Море было спокойно и ласково. Сквозь туман розовело солнце. Дальняя плоская черта берега чуть желтела впереди.

Только теперь, когда постепенно вернулось к ней застланное сном сознание, она глубоко охватила умом весь ужас и позор прошедшей ночи. Она вспомнила помощника капитана, потом юнгу, потом опять помощника капитана. Вспомнила, как грубо, с нескрываемым отвращением низменного, пресытившегося человека выпроваживал ее этот красавец грек из своей каюты. И это воспоминание было тяжелей всего.

На три часа пароход задержался в Севастополе, пока длинные послушные хоботы лебедек выгружали и нагружали тюки, бочки, связки железных брусьев, какие-то мраморные доски и мешки. Туман рассеялся. Прелестная круглая бухта, окаймленная желтыми берегами, лежала неподвижно. Проворные белые и черные катеры легко бороздили ее поверхность. Быстро проносились белые лодки военного флота с Андреевским косым крестом на корме. Матросы с обнаженными шеями все, как один, далеко откидывались назад, выбрасывая весла из воды.

Елена сошла на берег и, сама не зная для чего, объехала город на электрическом трамвае. Весь гористый, каменный белый город казался пустым, вымирающим, и можно было подумать, что никто в нем не живет, кроме морских офицеров, матросов и солдат, – точно он был завоеван.

Она посидела немного в городском саду, равнодушно глядя на его газоны, пальмы и подрезанные кусты, равнодушно слушая музыку, игравшую в ротонде. Потом она вернулась на пароход.

В час дня пароход отвалил. Только тогда, после общего завтрака, Елена потихоньку, точно крадучись, спустилась в салон. Какое-то унижительное чувство, против ее воли, заставляло ее избегать общества и быть в одиночестве. И для того чтобы выйти на палубу после завтрака, ей пришлось сделать над собой громадное усилие. До самой Ялты она просидела у борта, облокотившись лицом на его перила.

Низкий желтый песчаный берег постепенно начал возвышаться, и на нем запестрели редкие темные кусты зелени. Кто-то из пассажиров сидел рядом с Еленой и по книжке путеводителя рассказывал, нарочно громко, чтобы его слышали кругом, о тех местах, которые шли навстречу пароходу, и она без всякого участия, подавленная кошмарным ужасом вчерашнего, чувствуя себя с ног до головы точно вываленной в вонючей грязи, со скукою глядела, как развертывались перед нею прекрасные места Крымского полуострова. Проплыл мыс Фиолент, красный, крутой, с заострившимися глыбами, готовыми вот-вот сорваться море. Когда-то там стоял храм кровожадной богини – ей приносились человеческие жертвы, и тела пленников сбрасывали вниз с обрыва. Прошла Балаклава с едва заметными силуэтами разрушенной генуэзской башни на горе, мохнатый мыс Айя, кудрявый Ласпи, Форос византийской церковью, стоящей высоко, точно на подносе, с Байдарскими воротами, венчающими гору.

А там потянулись среди густой зелени садов и парков между зигзагами белой дороги-белые дачи, богатые виллы, горные татарские деревушки с плоскими крышами. Море нежно стлалось вокруг парохода; в воде играли дельфины.

Крепко, свежо и радостно пахло морским воздухом. Но ничто не радовало глаз Елены. У нее было такое чувство, точно не люди, а какое-то высшее, всемогущее, злобное и насмешливое существо вдруг нелепо взяло и опоганило ее тело, осквернило ее мысли, ломало ее гордость и

навек лишило ее спокойной, доверчивой радости жизни. Она сама не знала, что ей делать, и думала об этом так же вяло и безразлично, как глядела она на берег, на небо, на море.

Теперь публика вся толпилась на левом борту. Однажды мельком Елена увидела помощника капитана в толпе. Он быстро скользнул от нее глазами прочь, трусливо повернулся и скрылся за рубкой. Но не только в его быстром взгляде, а даже в том, как под белым кителем он судорожно передернул спиною, она прочла глубокое брезгливое отвращение к ней. И она тотчас же почувствовала себя на веки вечные, до самого конца жизни, связанной с ним и совершенно равной ему.

Прошли Алупку с ее широким зеленоватым, мавританского стиля, дворцом и с роскошным парком, весь зеленый, кудрявый Мисхор, белый, точно выточенный из сахара, Дюльбер и «Ласточкино гнездо» – красный безобразный дом с башней, прилепившейся на самом краю отвесной скалы, падающей в море.

Подходили к Ялте. Теперь вся палуба была занята поклажею. Нельзя было повернуться. В том стадном стремлении, которое всегда охватывает людей на пароходах, на железных дорогах и на вокзалах перед осадкой и высадкой, пассажиры стали торопливы и недоброжелательны друг к другу. Елену часто толкали, наступали ей на ноги и на платье. Она не оборачивалась. Теперь ей начинало становиться страшно перед мужем. Она не могла себе представить, как произойдет их встреча, что она будет говорить ему? Хватит ли решимости у нее сказать ему все? Что он сделает? Простит? Рассердится? Пожалует или оттолкнет ее, как привычную обманщицу и распутницу?

Каждый раз, представляя себе тот момент, когда она решится, наконец, развернуть перед ним свою бедную, оплеванную душу, она бледнела и, закрывая глаза, глубоко набирала в грудь воздуха.

Густой парк Ореанды, благородные развалины Мраморного дворца, красный дворец Ливадии, правильные ряды виноградника на горах, и вот, наконец., включенный в подкову гор, веселый, пестрый, амфитеатр Ялты, золотые купола собора, тонкие, стройные, темные кипарисы, похожие на черные узкие веретена, каменная набережная и на ней, точно игрушечные, люди, лошади и экипажи.

Медленно и осторожно повернувшись на одном месте, пароход боком причалил к пристани. Тотчас же масса людей, в грубой овечьей подражательности, ринулась с парохода по сходне на берег, давя, толкая и тиская друг друга. Глубокое отвращение почувствовала Елена, ко всем этим красным мужским затылкам, к растерянным, злым, пудренным впопыхах женским лицам, потным рукам, изогнутым угрожающе локтям. Казалось ей, что в каждом из этих озверевших без нужды людях сидело то же самое животное, которое вчера раздавило ее.

Только тогда, когда пассажиры отхлынули и палуба стала свободна, она подошла к борту и тотчас же увидела мужа. И вдруг все в нем: синяя шелковая косоворотка, подтянутая широким кушаком, и панталоны навывпуск, белая широкополая войлочная шляпа, которую тогда носили поголовно все социал-демократы, его маленький рост, круглый животик, золотые очки, прищуренные глаза, напряженная от солнечных лучей гримаса вокруг рта, – все в нем вдруг показалось ей бесконечно знакомым и в то же время почему-то враждебным и неприятным. У нее мелькнуло сожаление, зачем она не телеграфировала из Севастополя, что уезжает навсегда: так просто написать бы, без всякого объяснения причин.

Но он уже увидел ее издали и размахивал шляпой и высоко поднятой палкой.

VII

Поздно ночью она встала со своей постели, которая отделялась от его постели ночным столиком и, не зажигая света, села у него в ногах и слегка прикоснулась к нему. Он тотчас же приподнялся и прошептал с испугом:

– Что с тобой, Елочка? Что ты?

Он был смущен и тяжело обеспокоен ее сегодняшним напряженным молчанием, и, хотя она ссыалась на головную боль от морской болезни, он чувствовал за ее словами какое-то горе или тайну. Днем он не приставал к ней с расспросами, думая, что время само покажет и объяснит. Но и теперь, когда он не перешел еще от сна к пошлой мудрости жизни, он безошибочно, где-то в самых темных глубинах души, почувствовал, что сейчас произойдет нечто грубое, страшное, не повторяющееся никогда вторично в жизни.

Оба окна были открыты настежь. Сладостно, до щекотки, пахло невидимыми глициниями. В городском саду играл струнный оркестр, и звуки его казались прекрасными и печальными.

– Сергей, выслушай меня, – сказала Елена. – Нет, нет, не зажигай свечу, – прибавила она торопливо, услышав, что он затарахтел коробкою со спичками. – Так будет лучше... без огня... То, что я тебе скажу, будет необычайно и невыносимо тяжело для тебя, но я не могу иначе, и я должна испытать тебя... Прости меня!

Она едва видела его в темноте по белой рубашке. Он ощупью отыскал стакан и графин, и она слышала, как дрожало стекло о стекло. Она слышала, как большими, громкими глотками пил он воду.

– Говори, Елочка, – сказал он шепотом.

– Послушай! Скажи мне, что бы ты сделал или сказал; если бы я пришла к тебе и сказала: «Милый Сергей, вот я, твоя жена, которая никого не* любила, кроме тебя, никого не полюбила, кроме тебя, и я сегодня изменила тебе. Пойми меня, изменила совсем, до того последнего предела, который только возможен между мужчиною и женщиною». Нет, не торопись отвечать мне. Изменила не тайком, не скрываючись, а нехотя, во власти обстоятельств... Ну, предположи... каприз истерической натуры, необыкновенную, неудержимую похоть, ну, наконец, насилие со стороны пьяного человека... какого-нибудь пехотного офицера... Милый Сергей, не делай никаких отговорок и отклонений, не останавливай меня, а отвечай мне прямо. И помни, что, сделав это, я ни на одну секунду не переставала любить тебя больше всего, что мне дорого.

Он помолчал, повозился немного на постели, отыскал ее руку, хотел пожать ее, но она отняла руку.

– Елочка, ты испугала меня, я не знаю, что тебе сказать, я положительно не знаю. Ведь если ты полюбила бы другого, ведь ты сказала бы мне, ведь ты не стала бы меня обманывать, ты пришла бы ко мне и сказала: «Сергей! Мы оба свободные и честные люди, я перестала любить тебя, я люблю другого, прости меня – и расстанемся». И я поцеловал бы твою руку на прощанье и сказал бы: «Благодарю тебя за все, что ты мне дала, благословляю твое имя, позволь мне только сохранить твою дружбу».

– Нет! Нет... не то... совсем не то... Не полюбила, а просто грубо изменила тебе. Изменила потому, что не могла не изменить, потому что не была виновата.

– Но он тебе нравился? Ты испытала сладость любви?

– Ах, нет, нет! Сергей, все время отвращение, глубокое, невероятное отвращение. Ну, вот скажи, например, если бы меня изнасиловали?

Он осторожно привлек ее к себе, – она теперь не сопротивлялась. Он говорил:

– Милая Елочка, зачем об этом думать? Это все равно, если бы ты спросила меня, разлюблю ли я тебя, если вдруг оспа обезобразит твое лицо или железнодорожный поезд отрезет тебе ногу. Так и это. Если тебя изнасиловал какой-нибудь негодяй, – господи, что не возможно в нашей современной жизни! – я взял бы тебя, положил твою голову себе на грудь, вот как я делаю сейчас, и сказал бы: «Милое мое, обиженное, бедное дитя, вот я жалею тебя как муж, как брат, как единственный друг и смываю с твоего сердца позор моим поцелуем».

Долго они молчали, потом Сергей заговорил:

– Расскажи мне все! И она начала так:

– Предположи себе... Но помни, Сергей, что это только предположение... Если бы ночью на пароходе меня схватил неудержимый приступ морской болезни...

И она подробно, не выпуская ни одной мелочи, рассказала ему все, что было с ней прошлой ночью. Рассказала даже о том потрясающем и теперь бесконечно мучительном для нее ощущении, которое овладело ею в присутствии молодого юнги. Но она все время вставляла в свою речь слова: «Слышишь, это только предположение! Ты не думай, что это было, это только предположение. Я выдумываю самое худшее, на что способно мое воображение».

И когда она замолчала, он сказал тихо и почти торжественно:

– Так это было? Было? Но ни судить тебя, ни прощать тебя я не имею права. Ты виновата в этом столько же, сколько в дурном, нелепом сне, который приснился тебе. Дай мне твою руку!

И, поцеловав ее руку, он спросил ее еле слышно:

– Так это было, Елочка?

– Да, мой милый. Я так несчастна, так глубоко несчастна. Благодарю тебя за то, что ты утешил меня, не разбил моего сердца. За эту одну минуту я не знаю, чем я отблагодарю тебя в жизни!

И вот, с горькими и радостными слезами, она прижалась к его груди, рыдая и сотрясаясь голыми плечами науками и смачивая его рубашку. Он бережно, медленно, ласково гладил по ее волосам рукою.

– Ложись, милая, поспи, отдохни. Завтра ты проснешься бодрая, и все будет казаться, как давнишний сон.

Она легла. Прошло четверть часа. Расслабляюще, томно пахла глициния, сказочно-прекрасно звучал оркестр вдали, но муж и жена не могли заснуть и лежали, боясь потревожить друг друга, с закрытыми глазами, стараясь не ворочаться, не вздыхать, не кашлять, и каждый понимал, что другой не спит.

Но вдруг он вскочил на кровати и произнес с испугом:

– Елочка! А ребенок? А вдруг ребенок?

Она помедлила и спросила беззвучно:

– Ты бы его возненавидел?

– Я его не возненавижу. Дети все прекрасны, я тебе сто раз говорил об этом и верю – не только словами, но всей душой, – что нет разницы в любви к своему или к чужому ребенку. Я всегда говорил, что исключительное материнское чувство – почти преступно, что женщина, которая, желая спасти своего ребенка от простой лихорадки, готова была бы с радостью на уничтожение сотни чужих, незнакомых ей детей, – что такая женщина ужасна, хотя она может быть прекрасной или, как говорят, «святой» матерью. Ребенок, который получился бы от тебя в таком случае, был бы моим ребенком, но, Елочка... Этот человек, вероятно, пережил в своей жизни тысячи подобных приключений. Он несомненно знаком со всеми постыдными болезнями... Почему знать... Может быть, он держит в своей крови наследственный алкоголизм... сифилис... В этом и есть весь ужас, Елочка.

Она ответила усталым голосом:

– Хорошо, я сделаю все, что ты захочешь.

И опять наступило молчание и длилось страшно долго.

Он заговорил робко:

– Я не хочу лгать, я должен признаться тебе, что только одно обстоятельство мучит меня, что ты узнала радость, физическую радость любви не от меня, а от какого-то проходимца. Ах! Зачем это случилось? Если бы я взял тебя уже не девушкой, мне было бы это все равно, но это, это... милая, – голос его стал умоляющим и задрожал, – но ведь, может быть, этого не было? Ты хотела испытать меня?

Она нервно и вслух рассмеялась.

– Да неужели серьезно ты думаешь, что я могла тебе изменить? Конечно, я только испытывала тебя. Ну и довольно. Ты выдержал экзамен, теперь можешь спать спокойно и не мешай мне спать.

– Так это правда? Правда? Милая моя, обожаемая, прелестная Елочка. О, как я рад! Ха-ха, я-то, дурак, почти поверил тебе. Ничего не было, Елочка?

– Ничего, – ответила она довольно сухо.

Он повозился немного и заснул.

Но утром его разбудил какой-то шорох. К комнате было светло. Елена, бледная после бессонной ночи, похудевшая, с темными кругами вокруг глаз, с сухими, потрескавшимися губами, уже почти одетая, торопливо доканчивала свой туалет.

– Ты куда собралась, дорогая? – спросил он тревожно.

– Я сейчас вернусь, – ответила она, – у меня разболелась голова. Я пройду, а спать лягу после завтрака.

Он вспомнил вчерашнее и, протягивая к ней руки, сказал:

– Как ты меня испугала, моя милая, недобрая женушка. Если бы ты знала, что ты сделала с моим сердцем. Ведь такой ужас на всю жизнь остался бы между нами. Ни ты, ни я никогда не могли бы забыть его. Ведь это правда? Все это: помощник капитана, юнга, морская болезнь, все это – твои выдумки, не правда ли?

Она ответила спокойно, сама удивляясь тому, как она, гордая своей всегдашней правдивостью, могла лгать так естественно и легко.

– Конечно, выдумки. Просто одна дама рассказывала в каюте такой случай, который действительно был однажды на пароходе. Ее рассказ взволновал меня, и я так живо вообразила себя в положении этой женщины, и меня охватил такой ужас при мысли, что ты возненавидел бы меня, если бы я была на ее месте, то я совсем растерялась... Но, слава богу, теперь все прошло.

– Конечно, прошло, – подтвердил он, обрадованный и совершенно успокоенный. – Господи! Да, наконец, если бы это случилось, неужели ты стала бы хуже или ниже в моих глазах? Какие пустяки!

Она ушла. Он опять заснул и спал до десяти часов. В одиннадцать часов он уже начал беспокоиться ее отсутствием, а в полдень мальчишка из какой-то гостиницы, в шапке, обшитой галунами, со множеством золотых пуговиц на куртке, принес ему короткое письмо от Елены:

«С девятичасовым пароходом я уехала опять в Одессу. Не хочу скрывать от тебя того, что я еду к Васютинскому, и ты, конечно, поймешь, что я буду делать во всю мою остальную жизнь. Ты – единственный человек, которого я любила, и последний, потому что мужская любовь больше не существует для меня. Ты самый целомудренный и честный из всех людей, каких я только встречала. Но ты тоже оказался, как и все, маленьким, подозрительным собственником в любви, недоверчивым и унизительно-ревнивым. Несомненно, что мы с тобою рано или поздно встретимся в том деле, которое одно будет для меня смыслом жизни. Прошу тебя во имя нашей прежней любви: никаких расспросов, объяснений, упреков или попыток к сближению. Ты сам знаешь, что я не переменяю своих решений».

Конечно, весь рассказ о пароходе сплошная выдумка.